Александр
Васильев
Фамильные
ценности
Книга обретенных
мемуаров
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

# Александр Александрович Васильев
# Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров

*Издательский текст*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39851121*
*Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной; М.; 2019*
*ISBN 978-5-17-109662-5*

## Аннотация

Александр Васильев (р. 1958) – историк моды, телеведущий, театральный художник, президент Фонда Александра Васильева, почетный член Академии художеств России, кавалер ордена Искусств и Литературы Франции и ордена Креста Латвии. Научный руководитель программы “Теория и индустрия моды” в МГУ, автор многочисленных книг по истории моды, ставших бестселлерами: “Красота в изгнании”, “Русская мода. 150 лет в фотографиях”, “Русский Голливуд” и др. Семейное древо Васильевых необычайно ветвисто. В роду у Александра Васильева были французские и английские аристократы, государственные деятели эпохи Екатерины Великой, актеры, оперные певцы, театральные режиссеры и художники. Сам же он стал всемирно известным историком моды и обладателем уникальной коллекции исторического костюма. Однако по

собственному признанию, самой главной фамильной ценностью для него являются воспоминания, которые и вошли в эту книгу. Первая часть книги – мемуары Петра Павловича Васильева, театрального режиссера и дяди Александра Васильева, о жизни семьи в дореволюционной Самаре и скитаниях по Сибири, окончившихся в Москве. Вторая часть – воспоминания отца нашего героя, Александра Павловича – знаменитого театрального художника. А в третьей части звучит голос самого Александра Васильева, рассказывающего о талантливых предках и зарождении знаменитой коллекции, о детстве и первой любви, о работе в театре и эмиграции в Париж.

# Содержание

Александр Васильев 6
Петр Павлович Васильев 14
Конец ознакомительного фрагмента. 68

# Александр Александрович Васильев Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров

© Васильев А.А., 2019
© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2019
© ООО “Издательство АСТ”, 2019

* * *

*Моим родителям посвящаю*

# Александр Васильев
# Предисловие

Я горжусь тем, что моя семья включает три столетия русской культуры.

Моим предком был морской министр Екатерины Великой, а его сын командовал сражением при Березине. Мой двоюродный дед – великий русский художник Михаил Нестеров. Дед со стороны отца, будучи титулярным советником, обладал голосом редкой красоты и управлял хором при Самарской женской гимназии. Его жена, моя бабушка, была талантливой актрисой-любительницей и выступала в жанре мелодекламации. Вместе с моей двоюродной бабушкой Ольгой Петровной Дрябиной, замечательным концертмейстером, в мир моего детства вошла музыка Римского-Корсакова и Чайковского, Мусоргского и Глинки… А уже ее супруг, тенор Иван Поликарпович Варфаломеев, пел в Одессе и Киеве, два сезона служил в антрепризе Сергея Дягилева и считал себя соратником великого антрепренера.

Моя мама, актриса, пила чай на веранде в Крыму с вдовой Антона Павловича Чехова Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, читала стихи Анне Ахматовой, ее портрет писал Владимир Татлин. Мой папа – потрясающий художник-декоратор, замечательный портретист, пейзажист и про-

сто интеллигентный человек. Пятьдесят лет жизни он отдал театру, работал на лучших сценах нашей страны. Оформленные им постановки с неизменным успехом шли в Большом театре, в Художественном, в Малом… Я рос в атмосфере искусства, с детства видел актеров, художников, писателей, с которыми общалась и дружила семья.

Я начал играть в театр в пять лет и играю в него до сих пор. За последние сорок лет мне довелось поработать в качестве художника во многих странах мира и оформить более ста двадцати спектаклей. Часть из них были поставлены по русским классическим произведениям Островского, Толстого, Достоевского, Чехова, Булгакова, Горького…

В нашем роду немало европейцев, чем я и объясняю свое раннее увлечение Средневековьем, эпохой английской королевы Елизаветы I и периодом правления французского короля Людовика XIV, стилем императрицы Евгении, а позднее – немым кино и творчеством короля моды Поля Пуаре. К слову сказать, современница Поля Пуаре, знаменитый английский модельер Леди Дафф Гордон, – моя кровная родственница.

Мир русской культуры вошел в меня с первыми книгами по искусству, с тургеневскими героями, с московскими музеями, мебелью русского ампира, что стоит в нашей московской квартире, с бисерными вышивками и старинным кружевом. Так постепенно родились мой интерес к старинному костюму и страсть к коллекционированию. Сегодня

в собрании Фонда Александра Васильева находится более 60 000 единиц хранения. Это не только уникальные модели крупнейших парижских домов моды и вещи, принадлежавшие знаменитым актрисам, певицам и балеринам, но также творения талантливых и, увы, безвестных портних. Сегодня сложно представить, что коллекция начиналась с собранных в 1970-е годы на московских помойках старинных зонтиков, перчаток, шляпок и визитных фотографий.

Много лет продолжается моя лекторская деятельность, зародившаяся сорок лет назад в стенах Всероссийского театрального общества и распространившаяся со временем на четыре континента – от Австралии до Северной Америки. Хотя, если быть совсем честным, первую лекцию по истории моды я прочитал еще в школе, будучи учеником шестого класса. Об этом я еще обязательно расскажу на страницах книги.

Помещичьи усадьбы я знал изнутри, с молодых лет совершая поездки в Михайловское, Мураново, Остафьево, Кусково и Останкино. А в детстве во время летних каникул я жил на берегу озера Сенеж, где, по преданию, разыгрывается действие чеховской “Чайки”. В этом удивительном месте в ту пору сохранилось множество старинных дач.

Во время учебы на постановочном факультете Школы-студии МХАТ я имел возможность изучать изумительные эскизы, декорации и костюмы Мстислава Добужинского к спектаклю “Месяц в деревне” по пьесе Ивана Тургенева.

Уникальное наследие Мстислава Валериановича перенесло меня в мир 1840-х годов и стало темой моей дипломной работы.

В то время, когда мои однокурсники проходили учебную практику в костюмерных и живописно-бутафорских цехах московских театров, я стажировался в Кремлевской Оружейной палате и в Историческом музее под руководством хранителя Татьяны Алехиной. Именно там я познакомился с миром старинного русского шитья, тканей, кружева. А среди древних кокошников, душегрей и вышивок проходила моя преддипломная практика в Доме-музее К.С. Станиславского. Становление в мире истории моды и театрального костюма было связано также с именами Александра Бенуа, Гордона Крэга, Федора Комиссаржевского, Эрте… Именно эти мастера стали героями моих первых лекций о художниках-декораторах. Словом, театр всегда был со мной, а я – с ним.

Эти слова отчасти являются фрагментами моей рукописи, написанной в 1982 году, в первый год моего пребывания в Париже. Мне было только двадцать четыре года, но, возможно, уже тогда я понимал, что делаю набросок предисловия для своей будущей книги воспоминаний. Пара давно забытых листочков, скрепленных меж собой, обнаружились в моем парижском архиве вместе со старыми семейными снимками и многочисленными письмами, написанными более сорока лет назад. Все эти документы нашли место в книге “Фамильные ценности”, которую можно смело назвать книгой

обретенных рукописей. Помните, как у Булгакова: “Рукописи не горят”? Я бы добавил от себя: “И не теряются”. Доказательством этому стали никогда ранее не публиковавшиеся воспоминания моего отца, Александра Павловича Васильева, и его брата, режиссера Петра Павловича Васильева. Оба писали мемуары, которые при их жизни не увидели свет. И если дядины мемуары попали ко мне от его сына – Владимира Петровича Васильева, актера московского театра имени Ермоловой, то воспоминания отца я считал полностью утерянными.

Опубликовать папины воспоминания планировало издательство “Искусство”, реорганизованное, к сожалению, в 1990-е годы. Поскольку во время работы отца над книгой ксероксы еще не были распространены, а рукописи печатались под копирку, то и экземпляров существовало всего-навсего два. Долгие годы я пребывал в уверенности, что с упразднением издательства все материалы превратились в макулатуру и подверглись утилизации. Много лет спустя, встретив в Доме актера на Арбате племянницу Любови Орловой – Нонну Юрьевну Голикову, которая живет неподалеку от меня, в Оболенском переулке, я случайно узнал, что у нее хранится оригинал папиных воспоминаний. Как же эта рукопись попала к Нонне Юрьевне? Все очень просто: во время своей редакторской работы в издательстве “Искусство” она принесла домой канцелярскую папку с надписью “Дело №…”, чем и спасла от уничтожения папины мемуа-

ры, хранившиеся в этой картонной папке на завязках. Я не только обрел эту рукопись благодаря Нонне Юрьевне, но и с радостью предоставляю вам возможность, дорогие читатели, ознакомиться с этим фантастическим наследием народного художника России Александра Павловича Васильева.

Именно эти две рукописи являются для меня подлинными фамильными ценностями.

Свои же воспоминания я визуально разделил на три противоречивых жизненных периода. Первый – это мои детство и юность, которые прошли в Москве на Фрунзенской набережной. О нем я и хочу рассказать читателям на страницах книги "Фамильные ценности". Это воспоминания о родителях и Центральном детском театре, об увлечении стариной и начале моей коллекции, о друзьях семьи и учебе в Школе-студии МХАТ и, конечно же, о первой любви, подвигнувшей меня на переезд во Францию… Два других периода моей жизни зафиксированы в записных книжках и многочисленных дневниках, которые я веду всю сознательную жизнь. Это годы моей жизни в Париже и во всем мире – с 1982 по 2003 год, а затем мое возвращение в Москву после смерти мамы и годы плодотворной работы на Первом канале, который подарил мне не только российскую, но и мировую славу у всех русскоязычных телезрителей. Их время тоже придет! А пока я хочу вам поведать историю своей семьи, теснейшим образом связанной с историей и культурой нашей огромной России.

Эта книга никогда бы не обрела ту форму, в которой она сейчас представлена, если бы не коллективная память моих родственников и друзей детства, которые помогли мне восстановить многие фрагменты мозаики моей жизни. И я особенно благодарю мою сестру Наталью Толкунову, кузину Елену Хлевинскую, кузенов Владаса и Людмилу Гулевичей, племянницу Юрату Швядайте-Уоллер, жену моего дяди Ольгу Маркичеву, а также друзей детства и юности: Марию Миловидову, Галину Истомину, Наташу Сажину, Касьяна Берендта, Александра Хому, Юлию Шифман, Машу Пойндер, Владимира Мироненко, Михаила Орлова, Татьяну Печникову, Наталью Селях, Людмилу Черновскую, Арину Шарапову, Алену Долецкую, Лину Ковенскую, Наталью Музычкину, Алину Бессарабову, Веру Абрамову, Валентину Маликову, Ольгу Глебову, Елену Масленникову, Татьяну Кузнецову, Григория Манукова, Викторию Кузнецову, Алексея Булатова, Людмилу Хмельницкую, Алагез и Айдан Салаховых, Татьяну Шер, Наталью Огай-Рамер, Елену Шевченко, Анастасию Вертинскую, Станислава Садальского, Ольгу Яковлеву, Ольгу Остроумову. Также я признателен друзьям своих родителей, которые в разное время поделились со мной своими воспоминаниями о папе и маме: Карине Филипповой, Наталье Ясулович, Татьяне Надеждиной, Марии Кнушевицкой, Ирине Карташёвой, Нателле Лордкипанидзе, Сюзанне Серовой, Маргарите Юрьевой, Тамаре Малин-

киной, Валентине Тумановой, Нинели Терновской, Нинели Шефер, Марине Колевой, Людмиле Гниловой, Елене Юровой, Алле Азариной, Ольге Мелемед-Брумберг. Отдельную благодарность я выражаю моему литературному секретарю Василию Снеговскому, который с моих слов сделал литературную запись большей части этих воспоминаний. Другие страницы были дополнены мною лично во время летних каникул на моей благоприобретенной даче в Оверни во Франции.

Особая признательность – редакторам Анне Воздвиженской и Анне Колесниковой, художнику Андрею Бондаренко и всем сотрудникам Редакции Елены Шубиной, без которых эта книга не стала бы такой прекрасной.

# Петр Павлович Васильев

*Памяти мамы*
*Нины Александровны Васильевой*

*Какие-то запахи детства стоят —*
*И не выдыхаются.*
*Медленный яд*
*уклада,*
*уюта,*
*устоя.*

*Я знаю – все это пустое.*
*Все это пропало,*
*распалось навзрыд,*
*А запах не выдохся, запах стоит.*

***Александр Межиров***

Нас у мамы трое:
младший, Александр – Шура – 1911 г. р.
Ирина, Ира – 1909 г. р.
и я, старший, Петр – Петя – 1908 г. р.

Полюбив однажды и на всю жизнь мичмана Павлушу Васильева, она вышла за него замуж в 1907 году в Севастополе на Корабельной стороне, где прошли ее детство и юность и откуда пошло много славных сынов Отечества, в том числе,

например, И. Папанин, полярник. К тому времени отец ее (наш дед) Александр Брызжев – герой Плевны, корабельный оружейный мастер – умер, братья ее Виктор и Павел жили самостоятельно, и в домике на Корабельной стороне осталась она с матерью, нашей любимой бабушкой Акилиной Павловной, просвирней Корабельского прихода. Павлуша вышел в отставку и по совету сестры Натальи, жившей в Петербурге, с молодой брюхатой женой и тещей, продавши домик и хозяйство, уехал с берегов Черного моря на берега Балтики в столицу – искать счастья.

В январе 1908 года, в доме на 5-й линии Васильевского острова, мама родила меня, а на 6-й линии, в Андреевском соборе, меня крестили. Через несколько месяцев отец перевозит маму, снова беременную, меня и тещу в Кронштадт на место новой службы. В апреле 1909 года семья обретает второго ребенка, девочку Ирину.

Но, видимо, и на новом месте жизнь семьи не складывается. Помыкавшись в столице около трех лет, отец принимает назначение Министерства путей сообщения на должность временно исполняющего обязанности инспектора судоходства и чин титулярного советника, переезжает с опять беременной Ниной, двумя малышами и Акилиной Павловной с берегов Балтики на незнакомые берега Волги, в город Самару.

В 1910 году губернский город Самара – значительный, развивающийся центр торговли и пищевой промышленно-

сти России, крупный речной порт и железнодорожный узел.

О жизни самарских миллионщиков-мукомолов, скупщиков скота, зерна, земель разорившихся помещиков, о жизни городских мещан и "горчишников" с гневом и горечью писали А. Горький, А.Н. Толстой, Н. Гарин-Михайловский и др.

Вот сочиненное Горьким в 1895 году объявление для пристани:

*Смертный, входящий в Самару в надежде*
*в ней встретить культуру,*
*Вспять возвратися, зане город сей груб и убог,*
*Ценят здесь только скотов, знают цену на сало и шкуру,*
*Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог.*

В то время в Самаре выходило несколько газет, работал и ныне существующий хорошо построенный архитектором Чичаговым театр с сильной труппой, шли фильмы в синематографе фирмы Ханжонкова, функционировал концертный зал "Олимп".

Привлекшие отца условия: престижная, общественно активная должность начальника судоходного надзора (лоция и навигация) на участке Волги от Сызрани до Симбирска, куда входили Жигули; казенный пароход "Александр" для служебных поездок; казенная дача на высоком берегу Волги – пост наблюдения за режимом реки у Сызранского моста – с большим домом, службами, мастерскими, с фруктовым садом, огородом, купальней и лодками; значительное жалова-

нье – все это создало материальную базу укрепления молодой семьи, создания обеспеченного дома.

В 1911 году рожден Шура. Сняли отличную квартиру. В Самаре сложилась наша семья, образовался свой домашний образ жизни, уклад, уют, устой. Ко времени переезда в Самару отцу исполнилось тридцать четыре года. Он был образованный, бывалый человек, выросший в трудовой, интеллигентной многодетной семье. Мама считала своим человеческим предназначением создание семьи, воспитание детей. Бабушка вырастила троих детей, отлично вела хозяйство.

Самарские годы – время прекрасного расцвета мамы. Счастливые годы. Особенно начальные.

Самый дивный, сокровенный фонд памяти наполнен мамой. Сперва просто сладостные ощущения… Лежу на спине, а мама смешно играет со мной… Более позднее воспоминание – мама учит меня произносить молитву "Отче наш"… Читает… Теперь я знаю, что едва ли не раньше других книг читала она нам сказки, басни, были Л. Толстого из "Русских книг для чтения" и "Новой азбуки": "Три медведя", "Лгун", "Дурень", "Старый дед и внучек", "Филипок", "Акула" и другие. Мы любили слушать, пересказывать. Знали и детских авторов, например К. Чуковского – "Крокодил", но это позднее. Рано, до школы, мама научила меня грамоте – читать и писать, запоминать стихи. Думаю, что так же поступила она с сестрой и затем с братом.

Мама собрала домашнюю библиотеку – из приложений.

Не повторился в жизни тот суматошный, неожиданный день, когда из переплетной мастерской привезли красивые книги. Запахло клеем, тальником от длинных корзин, в которых вносили книги незнакомые люди. Книги заполнили стол, стулья, подоконник темноватой столовой, где стояли шведские книжные шкафы. Мы толкались, дрались, помогая маме разбирать книги и ставить на полки Чехова к Чехову, Тургенева к Тургеневу – больше по цвету переплета.

В нашей семье все читали. Любили книгу. Много читала и мама. Читал запоем ее брат, дядя Паша, прокуренный штабс-капитан, часто живший у нас. Говорили, что книгочеем был их отец, наш дед, интеллигент из рабочих самоучек.

Яркое проявление духовной одаренности мамы – ее увлечение художественным чтением, как раньше говорили, декламацией. Она с успехом читала перед гостями, на публичных вечерах, в госпиталях, нам. Репетировала самозабвенно. Мы часто слышали ее голос за закрытыми дверями. Многое из прочитанного ею на всю жизнь застряло в моем сознании и действительно сыграло решающую роль. “Рожденный ползать летать не может”, – узнал я мальчишкой и с горечью понимаю Горького теперь. “Мы еще повоюем, черт возьми!” – шептал я десятки раз услышанные в детстве слова Тургенева.

Хорошо помню про щи, что “они послевоенные”. Нас воспитали в православном, мужицком уважении к еде, хлебу. Мама вдохновенно восклицала: “О великий, могучий, прав-

дивый, свободный русский язык… Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу". Она в это верила. Верю и я. Судя по высказываниям и творчеству, верит Шура. Мама читала много других текстов И. Тургенева и М. Горького: "Песню о Буревестнике", "Легенду о Марко".

Горького любили в Самаре, считали "своим". Кстати, "Песню о Соколе" он написал здесь, в Самаре. Мама читала А. Майкова, И. Никитина, Н. Некрасова и современников – Д. Мережковского, К. Бальмонта и А. Блока, – наверное, читала, потому что научила меня стихам "Мальчики да девочки свечечки да вербочки…". "Живое слово" – не модное увлечение, а потребность всей жизни мамы. С юношеским интересом ходила она в 1920-х годах в Москве на спектакли Театра чтеца под руководством В. Серёжникова и в Политехнический – слушать В. Маяковского. Когда я, бывало, репетировал концерты в Колонном зале (в 1960–1970-х годах), то присаживался на боковые места партера под правой ложей, где мы с мамой сидели когда-то на поэтическом вечере, проходившем под председательством Д. Бедного, и слышали его крылатую фразу о пролетарских поэтах: "Хоть три сопливеньких, да своих!"

И еще – театр!

Устойчивая привязанность мамы, захватившая и нас, детей.

Нарядных, встревоженных, нас рано начали вывозить в ложу городского театра, где через много лет будет с успехом

работать Шура, а затем и я.

Смотрели “Дети капитана Гранта”, “Недоросль”, детские концерты, ходили в цирк…

Думаю, что у мамы были знакомцы в труппе театра, и нас водили за кулисы, потому что когда я приехал служить уже в Куйбышевский театр и впервые прошел из зрительской части через маленькую дверь в толще портальной стены на сцену, то обомлел, узнав место, где я когда-то бывал с мамой…

Иногда чтение ее превращалось в маленький спектакль – например, “Тарантелла” А. Майкова или “Ссора” И. Никитина. Впечатляли темпераментный драматизм и озорной юмор, внутреннее движение, постижение характеров, музыкальность. Наверное, кто-то из театра помогал ей работать над стихами. Может быть, З. Славянова, тогдашний антрепренер театра?

Как-то дома мы поставили спектакль. В детской из кроватей устроили сцену. За дверью в спальню родителей поставили кресла для зрителей, а дверь служила занавесом. Завесили окна, из настольной лампы, обложенной дровами и прикрытой красной бумагой, устроили “костер в ночном”, потому что играли пьесу, сочиненную мамой, как бы сейчас сказали, “по мотивам” рассказа И. Тургенева “Бежин луг”.

Играли не только в театр. Сочиняли живые картины, шарады, концерты, маскарады… Мы любили играть! Мама мастерски устраивала праздники семейные, календарные, церковные… Рождество и Крещение, Масленица и Пасха, Тро-

ица, Иван Купала, Петр и Павел… Обряд – та же игра! Карнавал! У каждого праздника свой сценарий, образ, костюм, планировка, персонажи, кухня…

Рождество… В гостиной огромная, под потолок елка. Двери закрыты… Тайна! Взрослые украшают ее. Мы на животах, в щель под дверью пытаемся рассмотреть подарки под елкой, уложенные на вате, обсыпанной блестками. “И в час назначенный…” для нас и гостей открывали большую дверь из прихожей в гостиную, и под звуки пианино в притемненной комнате возникала блестящая огнями и украшениями елка… Хороводы, концерт, танцы, игры, маскарад, подарки… Запах смолы, горящих свечей, запаленной хвои!

По украинскому обычаю готовили кутью, варили борщ с грибами и ушками, узвар из сухих груш. Бабушка клала под скатерть на праздничном столе сено – младенец Христос лежал в яслях с сеном.

На Крещение – ряженые, гаданье, катанье на санях с высокой точки Монастырского спуска до середины Волги. Днем и вечером, при уличных фонарях. Да я ли то мчался, крича от страха и восторга и прижимаясь к другим орущим ребятам?! “О, счастливая пора детство…” Еще яростней катались на Масленицу. Тогда выходили и взрослые, нам и пробиться было трудно. Масленица – обжорка, пьянь, разгул. Блины. Особенно бабушке доставалось: ставить тесто, печь блины…

Пасха… Трудный праздник… Шесть недель Великого поста, Страстная неделя, заутреня и наконец Пасха. Особенно

трудна Страстная неделя: есть дают мало, рано будят идти в церковь, а там долго стоять и, главное, нужно напряженно слушать, чтобы понять хотя бы такую запомнившуюся фразу: “Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна”. Мама и бабушка растолковывали смысл поступка Христа, погибшего за нас, учили состраданию, воспитывали человечность – “эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого” (К. Чуковский).

Заутреня, светлая… Вечерня – плач, а заутреня – ликование… В раннем детстве родители, возвратясь из церкви от заутрени, вытаскивали нас из кроваток и, обдавая запахами весны, холодом, целуя и радостно восклицая: “Христос воскрес!”, тащили в одеяльцах к столу. Лет в пять – шесть нас брали в церковь, и мы с зажженными свечками отстаивали службу и вместе со всеми переживали взрыв радости, пели, а потом, как у Блока:

*Мальчики да девочки*
*Свечечки да вербочки*
*Понесли домой.*

*Огонечки теплятся,*
*Прохожие крестятся,*
*И пахнет весной.*

*Ветерок удаленький,*

*Дождик, дождик маленький,*
*Не задуй огня!*

*В воскресенье вербное*
*Завтра встану первая*
*Для святого дня.*

В гостиной столовый стол, раздвинутый до предела, покрыт белой крахмальной скатертью. На нем куличи с головами, украшенными сахарной поливой и цветным, как бисер, просом, и сырная пасха. В глубоких блюдах на черной-черной земле выращен изумрудный овес, а из него выглядывают крашеные яйца и писанки. Ножки запеченного окорока, жареных гусей, индеек, кур, обвязанных гофрированной белой бумагой. Пахнет вербой и гиацинтами. Гиацинты (любимые цветы мамы) – белые, сиреневые, лиловые, розовые – в глиняных горшочках на столе и подоконниках. Первой, рано утром, приходит поздравлять с праздником команда "Александра". Вся семья выходит встречать ее. Три раза поют "Христос воскресе из мертвых" и т. д. Потом христосование всех с каждым. Бой и обмен крашеными яйцами. Чарка. Первое опробование кулича и сырной пасхи. Похвалы бабушке. Байки, хохот, песни… Запевает отец… Земля у южных стен и заборов подсохла, и можно играть в ко́зны… катать яйца…

Троица… Напечет бабушка глазастых жаворонков, украсят комнаты березками…

Очень весело на Ивана Купалу! Изобретательное обливание водой, несмотря на чин и возраст. Катанье на украшенных лодках, бой водой с другими лодками, сбрасывание в воду… Ночью – пугание привидениями, фонарики, сбор светлячков, поиск Иванова огня…

Петр и Павел… Меня назвали в честь Петра, митрополита Московского, а его день – в декабре. Папа назван не в честь апостола, а праздновали наши именины, по настоянию друзей, в июне, в день Петра и Павла. На даче. В тот день много пили, а потом пели с запева папы. Пели прекрасно, стройно, многоголосно и не "Шумел камыш". Все заканчивали играми в саду. Играли в горелки, прятки, пятнашки, жмурки и "горячо – холодно", испорченный телефон. Гуляли в лесу.

Акварельные краски, цветные карандаши, фольга, сухая бронза, разноцветный пластилин, бумага для рисования и разных цветов жатая, глянцевая, матовая, папиросная; пестрые лоскуты, яркие ленты и ленточки; блестящие цветные присыпки; переводные картинки; картон разный; синдетикон, гуммиарабик, мучной клейстер, клей столярный; ножницы и ножнички; кисточки колонковые и щетиновые; лобзик, пилки и станочек для выпиливания; фанера и наждачная бумага; разные нитки и иголки; проволока; линейки прямые и фигурные населяли детскую…

Все это оживало в умелых руках мамы, когда, вдохновенно импровизируя, сочиняла она нарядные бонбоньерки, цепи, фонарики, хлопушки на елку; маски и шляпы для маска-

рада; бальные бутоньерки и значки; цветы и бабочек для благотворительных кампаний. Бабочки – гордость мамы! С крыльями размера в ладонь и больше, необычайных форм, расцветок, фактур, они вызывали восторг детей и взрослых! Как они родились в фантазии мамы? Может быть, память об экзотических бабочках, привозимых моряками в Севастополь в качестве сувениров из южных стран, породила их?

Помню белых нежных "невестушек", темно-красных с черным – "кармен", серо-черных с серебром – "летучих мышей"… изумрудных… оранжевых…

Мы в детской рисовали, раскрашивали, лепили, склеивали, вырезали, выпиливали, сшивали, вышивали, сбивали, переводили картинки, выжигали… Рисовали, как Красная Шапочка встречает Серого Волка в лесу, потом – что увидели в театре: орел в когтях уносит мальчика. В войну рисовали падающие горящие аэропланы. Вырезали и клеили макетики к сказкам о золотой рыбке и ученом коте. Делали подарки. С возрастом задачи усложнялись, соединялись с уроками рисования, ручного труда и рукоделия в школе, с заданиями по географии, физике и др. Я научился работать с папье-маше, на гончарном круге, переплетать книги. Рукоделие вошло в жизнь. У Шуры – блестяще – в профессию театрального художника. И если в 1925 году выполнял я макет Фрадкиной и Вишневецкой для спектакля "Ревизор" в театре им. МГСПС, то участвовал в этом деле, используя навыки, полученные в детстве.

Сохранилось мое письмо от 13 декабря 1915 года, посланное в санаторий: “Дорогая мама! Ты пишешь, чтобы Ира училась играть на пианино. Ира на это согласна, и я, мама, тоже хотел бы играть на пианино” и т. д. И нас учили.

Музыка стала профессией Иры. Мама все делала, чтобы пробудить в нас способности к художественному творчеству, любовь к искусству: театру, литературе, живописи, музыке.

Отец же мечтал дать нам точные знания, практические умения. Папа окончил юридический факультет Киевского университета и Морской корпус в Петербурге. Библиотеку пополнял популярной научной литературой: серией книг знаменитого Н. Рубакина о природе России, промышленности и сельском хозяйстве, К. Фламмариона о строении Вселенной и др.

Отец не терпел “ответов вообще”, требовал точных знаний и сам проверял их. Учил нас учиться. Повесил в детской азбуку и “долбицу” умножения и заставил выучить. Настойчиво учил трудолюбию, дисциплине, порядку, аккуратности, бережливости, обязательности. Был врагом барства, лени… “Проснулся – вставай, лег – спи, а не валяйся”, – говорил отец.

Все делал, чтобы из хилых сделать нас физически развитыми, приучал к спорту. Заставлял бегать, плавать, нырять, грести, лазать на деревья, ходить на лыжах и играть на воздухе в горелки, лапту, городки, крокет и др. Каждое лето (за редким исключением) семья летом выезжала на природу – к

морю, в лес, к полям и речкам, на Волгу…

Волга… Красавица Волга. Она возникла в жизни нашей семьи как место работы отца, а стала главной рекой всей моей жизни. Участок Волги от Сызрани до Симбирска расположен в среднем, могучем течении реки, но и он страдал от обмеления в летний активный сезон судоходства. Фарватер от наносов менялся, и главным делом отца, службы судоходного надзора, было установление изменений фарватера и открытие новых ходов или углубления землечерпалками старых, обеспечивающих безопасность и быстроту следования судов, оповещение их команд о состоянии фарватера и установка сигнальных знаков на воде и берегу. Для служебных поездок, как я уже упоминал, в распоряжении отца находился казенный колесный, однотрубный, под белую краску с черной полоской на трубе пароход “Александр”. В центре второй палубы располагалась рубка, а по бокам – правый и левый капитанские мостики. В корме корпуса жила команда, середину занимало машинное отделение, а каюты носовой части принадлежали отцу и его помощникам и были соединены лестницей с салоном на первой палубе. Салон нарядный, уютный и с огромным обзорным стеклом.

Иногда отец брал в поездку семью, а чаще одного меня. Бывало, что держал меня на режиме команды. Сказочно интересно плыть в рубке или на скамеечке перед ее передним стеклом! Смотреть, смотреть, смотреть бесконечную смену богатого ландшафта, слушать деловую беседу отца с опыт-

нейшими волгарями, лоцманом и штурвальным, вникать в их замечания о работе реки и людей, обслуживающих ее, о встречных судах. Сколько новых, ярких слов: перекат, межень, плёс, старица, перевальная веха, стрежень… А сколько речных и морских баек узнаешь здесь! Любопытно наблюдать, как лоцман встречает гудками, а штурвальный – отмашкой флажками проходящие пассажирские "Самолет", "Кавказ и Меркурий", нефтеналивные самоходки, буксиры с баржами, плоты, беляны… Иногда лоцман разговаривает через рупор, обращается по имени и отчеству – он знает всех лоцманов на Волге! Привлекали встречи с бакенщиками, рядовыми судоходного надзора, работающими на реке и живущими там, подчас далеко от селений. "Александр" вставал на якорь, бакенщик поднимался в салон получать указания, взбучку и жалованье. Трогательно расписывались в платежной ведомости или, чаще, ставили крест дрожащей рукой, потея и кланяясь.

Очень скучно слушать, как вахтенный матрос однотонно выкликивает (для записи в рубке) количество четвертей на наметке, которой он промеряет глубину. Часами… Радостно слышать – "Под табак!", что значит выход на глубокую воду и возможность следовать дальше. "Под табак!" – термин из сленга бурлаков: чтобы не замочить табак на глубоких местах, его прикрепляли на шею или клали под шапку. Жалко отца при разборе аварии. На палубе злая речная полиция, кричащий капитан аварийного судна, нервничает

отец… Знали, что полиция вымогает взятки.

Как на праздник, ехали в Симбирск. Тогда его связывали с писателем И. Гончаровым и романом “Обрыв”. День-два стоянки. Подъем по почти семисотступенчатой деревянной поломанной лестнице, окруженной садами, на холм Венец с видом на Волгу и заволжские просторы. Причаливание к нашему пароходу служебного судна начальника Казанского судоходства Черепанова, дружка отца. Стерляжий обед. Вечером – концерт: у пианино Черепанов, а поет отец.

Природа наградила его редкой красоты и силы голосом – драматическим тенором. Не раз в жизни отца вставал вопрос о переходе на профессиональную оперную сцену. С предельной отдачей пел ариозо Канио и другие драматические партии русских и западных композиторов. Проникновенно исполнял народные украинские песни. Каждый раз, как будто прощаясь с жизнью, пел арию Левко из оперы “Майская ночь” Н.В. Лысенко, учившего отца петь. Верхняя, звенящая нота в словах “Мочи нет боле, душа, пропадай…” и сейчас звучит в душе с первозданной силой. Концерт слушает команда, слушают на пристани и на берегу. Отец любил петь людям.

И мама отличалась общественной активностью, темпераментом, душевной щедростью.

…Всероссийский “день ромашки” – сбор средств больным туберкулезом. До́ма – ромашковый луг. Цветы сделаны руками мамы. Окружив ее, вымытые, причесанные, в мат-

росских костюмчиках, с опечатанной кружкой и щитками с ромашками, выходим на солнечную улицу. Мы смущены… неловко как-то… А мама – нет! Сияющая, приветливая, идет навстречу прохожим, заговаривает, прикрепляет цветок или поручает это сделать кому-нибудь из нас, и брякают монеты в кружку, а бумажные деньги проталкиваем в щелочку…

В "Олимпе" благотворительный бал с танцами, играми, почтой цветов, аукционом, концертом и прочим. В нижнем фойе – киоск, где мама продает бабочек. Дела идут не так, как хотелось бы.

Со щитом, унизанным бабочками, идет мама в зал танцев. Пока играет оркестр, оставив мне щит, самозабвенно танцует, а в перерывах, разгоряченная, прекрасная, бойко продает свои творения. В концерте читает "Тарантеллу", а самый яркий сувенир продают с аукциона…

Война. Может быть, тяжелая осень 1916 года. В кухне идет укладка посылок. Полно людей. Бабушка и ее приятельницы монашки, соседи, прислуга. Душа всего – мама. В ящиках – вязаные варежки и носки, полотняные нательные рубахи и подштанники, махорка, мамой написанные письма и ее же печенье…

…Или сцена, как в третьем акте "Трех сестер". Ходит по комнатам, раскрывает шкафы и сундуки и выбирает одежду погорельцам…

…Мама на молебне в день открытия созданного отцом плавучего госпиталя. Отрешенно шепчет… Молитва – ее ор-

ганическая потребность. Всю известную мне жизнь. Бабушка рассказывала, что девочкой ее дочь делала из цветов каштана свечи и, крестясь, произнося молитвы, с глубокими поклонами закрепляла их в развилки вишен, переходя от дерева к дереву в садике у дома. Часто ходила в церковь. Подавала списки о здравии и за упокой, говела, исповедовалась, причастие принимала…

Было время, когда мы, дети, во всем следовали маме.

Берегла свой стиль, привязанности: любимый цвет – лиловый, сиреневый… Любимый драгоценный камень – аметист; духи – "Лориган" Коти; цветы – гиацинты, фиалки; роман – "Анна Каренина".

Любила писать письма… Письма ее лишены эпистолярных стереотипов – писала своими словами, как говорит сердце и складывает мысль. Абсолютно грамотно…

Озорно шутила, любила юмор. Есть фотография – она подставила Шурикову голую попку под объектив фотографа и хохочет, и отец хохочет… Дразнила нас: "Косолапая!" – это Ира, а мне говорила: "Петька, от тебя псиной пахнет". Шуру называла "рахит". Мы хныкали. Грубовато? Выросла среди солдат, матросов… Морячка, родилась в Одессе и двадцать три года прожила у Черного моря в военном порту, в военной семье. Родилась сто лет назад, в 1884 году. Вечная ей память! Красивая, глазастая, немного полноватая, как Анна Каренина. Характер кроткий, впечатлительный, богатый внутренней жизнью, часто скрытой.

Скрыть же от мамы неудачу, огорчение, душевное расстройство невозможно. Пристально вглядится и спросит: “Петя, что случилось?” К маме обращались с исповедью, горем, за советом. Слушала проникновенно, думая, как бы видя то, о чем ей говорили. Беседовала. Успокаивала. Давала верные, как показывала жизнь, советы.

Иногда глубоко задумывалась или вспоминала что-то, уходила в себя, не видела и не слышала окружающего. Впервые я был поражен этим состоянием очень-очень давно, в шесть лет, в Херсонесе.

Близкие утверждали, что мама принимала сигналы бедствия близкого человека на очень далеком расстоянии. Проснулась ночью и, очень волнуясь, сказала, что на фронте плохо брату. Потом стало известно, что в эти минуты он погиб.

У мамы был уникальный жест: в минуты волнения ногтем мизинца правой руки гладила бровь от переносицы к виску…

Звали маму Нина, Нина Александровна Брызжева. Метка на белье, посуде – “НБ”, а при крещении получила имя Анна, но оно возникало только иногда, в официальных документах, потому что в паспорте стояло “Анна”.

Любила искусство народных умельцев. Как-то из поездки по Волге привезла повойник из лилового муара, вышитый золотой ниткой, и такую же душегрейку. Очень ей шло! Следила за модой.

Мама и бабушка – великие кулинарки. Но у каждой свое амплуа. У мамы – сладкое печенье: сдоба, вертушки и др. Михаил Васильевич Нестеров называл их “Нинины вертушки”. Вертушку мама пекла так: обеденный стол посыпала мукой, в центр клала тесто, раскатывала до возможной тонкости, потом растягивала руками до прозрачности: запустит правую руку под раскатанное тесто и, придерживая левой, осторожно поглаживая к себе, растягивает до кромки стола. Разбрасывает по тесту комочки сливочного масла, посыпает сахаром и начинкой, обрезает тесто за краем стола, а заготовку с одного края (узкого) сворачивает плотным жгутом, укладывает зигзагом на противень и запекает в духовке. Когда вертушка остынет, режет по диагонали кусочками и посыпает сахарной пудрой. Начинка – изюм, мак, миндаль, корица, клюква, ваниль. Самая вкусная вертушка – миндальная! Очень хороша с маком. Такая вот “Нинина вертушка”!

И опять о маме и море…

Нас вывезли в Геленджик летом 1913 года, когда подрос Шура. Ему шел третий год. Ире – пятый, а мне – шестой. Помню море, синее море… Помню, как ушла в море Ира. Хватились и увидели далеко в воде соломенный бриль, а под ним глотает соленую воду сестричка. Помню, что влюбился в красивую молодую женщину… Ревновал, капризничал…

Лето 1914 года жили в Балаклаве. Обычно мы купались в бухте, но часто мама брала лодку с гребцом, выходили в открытое море, плыли в виду берега, приставали, прыгали

на раскаленную гальку, пищали, скакали, нам бросали под ноги простыни, а потом бежали к воде, и мама учила плавать и нырять, ловить мальков, крабов… К морской воде она относилась, можно сказать, как к среде обитания: плавала свободно, красиво, далеко.

Возила на линейке в Севастополь смотреть парад кораблей.

Приморский бульвар переполнен праздничной толпой. Нашли место у Графской пристани. На рейде – эскадра, сияющая надраенной медью, украшенная флагами расцвечивания, Андреевским флагом. На палубах выстроены команды в белой форме, оркестры. Долгие, скучные паузы… Идет адмиральский объезд кораблей. Долетают мощные ответы на приветствия. Потом играют дудки боцманов. Спуск шлюпок и команд. Блеск взлетающих весел… Причаливание, и вот – первые встречи… И кто-то узнает маму, бабушку… Они здесь впервые после отъезда в 1907 году. Нас разглядывают, угощают чебуреками, бузой…

Ночевали в гостинице, а на другой день ездили в коляске на Корабелку смотреть бабушкин дом и в Херсонес на раскопки.

А недели через две в Балаклаве – колокола, крестный ход с хоругвями и пение “Спаси, Господи, люди твоя”… Война…

Война! Вагон… Плачущие мама и бабушка: отец – военнообязанный, а дядья – офицеры… Проходящие составы с солдатами, и “Соловей, соловей, пташечка”…

Какими идеалами жила семья? Многое определяла официальная триада "Бог, Царь, Отечество", как тогда пели: "Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое ура, ура, ура!"

Культ Романовых вбивали в наши детские головы в связи и со столетием победы над Наполеоном в 1912 году, и с трехсотлетием дома Романовых в январе 1913 года: возили смотреть иллюминацию, дарили подарки с романовскими портретами. Культ этот стремительно разрушался неудачами в войне, разрухой, распутинской историей и наконец революцией. Это нельзя было скрыть даже от детей.

Мы с младенчества воспитывались на молитве, и религия многие годы была предметом мучительных отношений в нашей семье. Особенно когда стали старше. И только любовь к Родине, решительно видоизменившись, вошла в современное сознание. Наверное, в 1915 году мы – Шура, Ира и я – уходили на войну. Копили сухари. Однажды, когда все взрослые ушли, а прислуга работала на кухне, вышли из квартиры и спустились вниз на парадный выход. Ира заплакала. Я уговорил ее, и мы вышли на улицу. Отправились в сторону Волги. К счастью, встретили бабушку и маму с покупками…

Высшими духовными ценностями почитались правда, добро и красота. Правда – истина, правда – честность, совесть. Жить по правде, по совести – главное требование к человеку. Начиналось с требования говорить правду, отве-

чать за свой поступок и проступок, не лгать. Совесть – высший внутренний судья. Правда – определяющий эстетический критерий. Правда жизни – в искусстве. Вкус к правде. Нас учили, что человек, совершающий поступки для блага других людей, природы, добр, а добро – основа человеческих отношений в семье, школе, на службе, в обществе. Добра в семье не хватало, и время было недоброе. Маму помнят необыкновенно добрым человеком. И бескорыстным. Добро не терпит эгоизма, тщеславия, собственничества, накопительства. Человек, преданный Отечеству, живущий по правде, совершающий добрые поступки, красив. Красоту человека, внутреннюю и внешнюю, красоту природы, дома, одежды, произведения искусства, песни в семье ценили – "по духу времени и вкусу", естественно. Мама о красоте писала даже в своем последнем письме. Наконец, Вера, Надежда, Любовь и Мудрость, испокон века живущие в людях, чтились и нами. Конечно, Веру отдавали Богу, но победила Вера в человека, разум, пушкинские начала. В самые тяжелые времена мы жили надеждой на победу разума. Жаль, что иногда мудрость захлестывали чувства. Даром любви одаренная полной мерой, мама хотела наделить им и нас…

Родители многое делали, чтобы семья жила высшими нравственными ценностями, однако мы рано узнали, что иной раз правду от нас скрывают, учат лгать, терпеть, учат покорности, смирению, особенно мама. Несогласие, протест были чужды ее кроткому характеру. Идеал – толстовский –

Алеша Горшок. На мой вопрос “За что сослан на каторгу Достоевский?” бабушка ахнула: “Ишь, блазень!”, а мама сказала: “Ты еще маленький”.

К событиям 1917 года нас не подготовили. (Хотя родители пережили революцию 1905 года, они – свидетели трагического пожара “Очакова” на севастопольском рейде, расстрела лейтенанта Шмидта, восстания “Потемкина”.) Я помню Февральскую революцию, а Октябрьскую от нас, детей, скрыли.

В феврале народ сверг царя, монархию. Наши родители читали газеты, пересказывали слухи и рассказы очевидцев. Последними словами кляли царя, предательство царицы Алисы, министров – за развал государства, генералов – за поражения.

Помню день всенародной манифестации. В ответ на обращение губернского комитета народной власти и Совета рабочих депутатов Соборную площадь заполнили десятки тысяч горожан. После митинга пошли по городу. По нашей улице шли свободной толпой, заняв все пространство от края до края. Шли с красными флагами, песнями, радостные. Шли не быстро, махая руками и крича людям в окнах и на балконах. Кто-нибудь поднимался на каменную тумбу или скамейку у дома и говорил речь. Его поддерживали репликами, возгласами, аплодисментами. У многих на груди прикреплены красные банты, розетки, ленты. Тогда я впервые услышал песню “Отречемся от старого мира…” Оркестров не помню.

Отец, участвуя в мероприятиях народной власти, возглавил смешанную комиссию из железнодорожников, судовладельцев и членов судоходного надзора для разработки вопроса о перевозках по Волге в предстоящей навигации. Он ходатайствовал перед Министерством путей сообщения об исключительной и преимущественной перевозке хлопка из Туркестана и Средней Азии, чтобы использовать весь скопившийся в районе Самары судовой тоннаж и помочь нуждающейся в сырье текстильной промышленности Верхнего Поволжья и Москвы. Принимал участие в осуществлении мер безопасности, принятых в связи с ожидающимся нападением. Жили тревожно, напряженно.

Вернулся с Балтфлота Петька-буфетчик с "Александра", выращенный отцом. Зашел навестить, показаться в форме военного моряка. После завтрака беседовали. Отец спросил:

– Офицеров кидали за борт?

– Кидали!

– И ты кидал?

– И я кидал!

– Как же тебе не стыдно, Петька? – спросил отец.

– Так ведь все кидали, Павел Петрович! – ответил Петька.

Стало слышно о погромах, самосудах над врагами народной власти. В доме на противоположном углу громили винную лавку. Пьяные погромщики внутренним ходом проникли в плотно закрытый с улицы двор к складу. Сорвали замки. Пили из горлышек, били посуду, ломали полки, разбивали

бочки. Вино полилось из-под ворот на улицу и по булыжнику в кювет. Пили, черпая ладонями, лежа на животе, сосали из лужи. Разгоняли [погромщиков] солдаты. В другой раз, привлеченный криками на улице “Стой!”, “Держи!”, я выскочил на балкон. Серединой улицы бежал, отчаянно работая ногами и руками, тяжело дышавший мужчина в черном, без шапки. Догонявшие отстали от него на значительное расстояние. Наперерез бежавшему бросился с правого тротуара мужчина. Бежавший метнулся от него, но был задержан людьми с левого тротуара. Сделал попытку вырваться, но его скрутили. Подбежали догонявшие. На некоторое время всё застыло, как стоп-кадр. Подбежавшие осатанело заорали в лицо задержанному… Кто-то ударил его по голове. Начали бить и, сбив, страшно завопили. Больше я его не видел… Из толпы вылетели куски одежды. Толпа, крича, странно перемещалась и прыгала на месте. Потом стала затихать и расступаться, глядя в середину. Кто-то побежал. А затем все отступили к тротуарам, оглядывая сапоги, брюки, сплевывая… На мостовой лежало грязно-черное месиво с очертаниями человека… От него шли черные густые следы, исчезавшие у тротуаров… Все произошло очень быстро… И я не понял: куда делся бежавший, которого задержали? Что сделал? Кто его догонял? Было ли все это?

Как шло учение и чем закончился учебный год, я совершенно не помню.

Отец снял дачу у Волги, выше города. Свежий, нарядный

дом стоял среди смешанного леса и кустарника рядом с другими такими же участками за новенькими заборами. Много тени, сыро, прохладно и комары. Перед верандой расчищена площадка для крокета, где мы и торчали с утра до вечера. Ходили к Волге просекой. Берег каменистый, с большими деревьями. Много черной ежевики. Купальни, мостки с лодками, пристань дачных пароходов. Товарищей мало. Чинная, порядочная дачная жизнь. Весело было на Петра и Павла, как я о том писал выше.

Отец в ту навигацию на "Александре" плавал редко: много дел и забот в городе.

Однажды отпустил меня в поездку под присмотром старпома. Команда на "Александре" изменилась. Старой папиной дружины не стало! Молодых призвали. Боцман и лоцман, правда, те же, а часть матросов – новая. Буфетчика не было. Повар – из пленных австрийцев. Как и прежде время проводил в рубке, машинном отделении, кубрике. Питался с командой. На обед и ужин собирались за большим столом, окруженным скамьями, на корме под тентом. Боцман читал молитву. Слушали стоя. Крест клали не все. Повар приносил общую миску с кашей. Ели деревянными ложками. Потом – суп. Миска стояла далеко, и, чтобы не залить стол, полную ложку несли ко рту над куском хлеба. После повар ставил миску с накрошенным мясом из супа, жирным и вкусным. Черпать мясо можно только после того, как разрешит боцман, стукнув ложкой о край миски. Кто лез раньше, того боц-

ман бил ложкой по лбу.

Однажды меня стукнули так, что вскочила шишка. Нефельтикультяписто вышло, как любили говорить на "Александре". Плавали недолго – и опять дача.

Как-то Ира, Шура и я под водительством бабушки приехали вечером в город. Поднимаясь последним маршем лестницы, я увидел, что замок на входной двери сломан, а дверь прикрыта неплотно. Сказал бабушке. "Беги, зови людей", – скомандовала она. Я побежал вниз и слышал, что следом бежит бабушка с младшими. На улице бабушка закричала: "Помогите!" Собрался народ. Осмотрели квартиру. Воров не было, они ушли крышами через окно на лестничной клетке…

В прихожей стояли тюки с одеждой, тщательно упакованной в куски брезента, принесенного ворами. Воры оставили набор отмычек, фомок, ломиков и др. На комоде в спальне родителей лежал элегантный золотой кулон, а рядом – открытый флакон с любимыми духами мамы… Воры не успели перелить духи и оставили еще где-то украденную дорогую вещицу.

Мы не могли спать: всё ждали, что воры придут за своими вещами… Бабушка зажгла во всех комнатах свет. Уснули. После этого перепуга отец решил отправить нас с мамой и бабушкой подальше от города, на пост…

На хутор у Сызранского моста мы приехали в первое же лето самарской жизни, в 1911 году, после рождения Шуры.

Через много лет тетушка Ольга Петровна, посылая фотографии, писала: “Дорогие Васильевы, предлагаю вам полюбоваться голенькой заднюшкой заслуженного деятеля искусств Александра Васильева. Жила на посту все лето, лежа в гамаке, перечитала А. П. – моего любимого поэта. И представьте, дети не мешали”. И еще: “У Сызранского моста, чудесное лето, великолепное гостеприимство, озорное настроение и неизменно одна и та же фраза от Пети: «Тетка дуля»…”

В последующие годы бывали редко и недолго. В этот приезд мы всё там увидели по-новому. Хутор расположен на высоком, крутом, изрытом пещерами, известняковом правом берегу Волги. В центре, на краю, площадка, и от нее к воде, к лодкам идет многоступенчатая деревянная лестница. На площадке будка вахтенного матроса, флагшток и столб с колоколом – отбивать склянки по морскому обычаю. Это и есть пост! Здесь как на капитанском мостике! Это сердце хутора. Тут с мальчиками из семей работников судоходного надзора и других тружеников, облепив заборчик и перила, обсуждаем всё что видим: нашу гордость – Сызранский железнодорожный мост, один из длиннейших в мире. Пассажирские, товарные, воинские, госпитальные составы… Здесь я узнал, что длинный-длинный состав из товарных вагонов с тоскливо поющими переселенцами назван “Максимом” в честь нижегородского босяка, писателя Максима Горького. А сколько узнаем мы от вахтенного матроса о проходящих судах,

перевалке грузов на пристанях видных отсюда Батраков, об изменениях на Волге! Однако тут мы бываем недолго. Мы целые дни заняты. Лодки, рыбалка, купанье, осмотры пещер, походы в лес, поездки на пески противоположного берега, поделка луков и стрел, копка червей и подготовка подкормки для рыбалки, посещение кузницы и знакомство со старым кузнецом, берущим голой рукой раскаленную подкову! Быстро пролетели последние беззаботные недели нашего детства.

К началу учебного года "Александр" ночью, погасив огни, перевез нас в Самару.

В городе шли демонстрации, митинги. Все возбужденно говорили об Учредительном собрании, спорили, за какой номер бюллетеня голосовать. И в нашей семье то же. Во дворе толстый гимназист по фамилии Карасик заявил, что будет голосовать за анархистов.

Осенью я пошел в первый класс коммерческого училища. Два года до этого я проучился в младшем и старшем приготовительных классах. Обстановка в училище отражала происходящее в жизни, в обществе: классы распались на враждующие группы; классы враждовали между собой, старшие били младших. Сосед по парте, приходивший к нам домой учить уроки, обозвал меня в классе "буржуем". Я обиделся и обозлился. Рассказал отцу. "Протестую! – вспылил отец. – Мы живем на те средства, которые я зарабатываю своим трудом".

Для совместного урока с первым классом “Б” нам дали большую аудиторию, выстроенную амфитеатром. Когда урок кончился, мы стоя проводили учителя и стали готовиться к большой перемене, в аудиторию вошли здоровенные старшеклассники, сгрудились у двери, начали снимать ремни и складывать их для драки. Я поднялся по крайним ступеням амфитеатра и толкнул на них прислоненную к стене большую стремянку с коваными петлями и крючьями. Стремянка, падая, неожиданно встала на четыре ноги, переступила с ног на ноги, сделав какой-то странный вольт, изменила направление и – слава богу! – грохнулась на застекленную дверь в арке, со страшным шумом ломая рамы и разбивая стекла.

Пережив ужас и стыд, я зажался и упрямо выдержал укоры любимого классного надзирателя Аринушкина, выговор директора Херсонского, приход вызванного в училище отца.

Дома тихо встретила мама, села на стул, прижала меня к коленям и, пристально глядя в глаза, стала перебирать мои волосы. И тогда я заплакал. Никогда не забуду удивленных, несчастных, укоряющих и бесконечно любящих глаз мамы!

Вскоре обстановка стала невыносимой, ходить по улицам было опасно, и я перестал бывать в училище. Все мы занимались дома с репетиторами и мамой. Гулять выпускали в каменный мешок двора. Ходили черным ходом. По ночам в парадных дежурили члены уличных комитетов.

Отец ходил на службу. Кабинет отца реквизировали, и в

нем жил представитель новой рабочей власти, симпатичный интеллигентный комиссар. Иногда он вежливо просил кипяток. Приглашал нас к себе. Родители при детях говорили мало. По вечерам папа читал вслух или играли в лото. Перебрались в комнаты окнами во двор: кухня с черным ходом и комнатой прислуги, санузел, столовая, комната бабушки с чуланом. Жили скученно.

Это все, что я помню об осени, зиме и весне 1917–1918 годов. Память разбудила артиллерия, обстреливающая город со стороны Самарки… На чистом небе видны барашки разрывов… это наступают взбунтовавшиеся пленные чехи и белогвардейские части. Отец ползет по-пластунски через кабинет (симпатичного комиссара уже нет) к балконной двери, чтобы взглянуть направо, узнать, что происходит на Дворянской, главной улице… На другой день там весело играют духовые оркестры чехов… Дальше в памяти смута, какая бывает на экране барахлящего телевизора…

Страшный, кровавый смысл происходившего в те дни и месяцы я узнал, прочитав главы из книги “Восемнадцатый год” эпопеи А.Н. Толстого “Хождение по мукам”, из исторической литературы.

Появляется новое слово – “эвакуация”. Нам объясняют, что на город будут наступать большевики, Красная армия, произойдут бои и нужно уехать на некоторое время, взяв самое необходимое.

Суета сборов и укладок. Однажды ночью нас спящими

увозят на товарную станцию.

Поезд движется на восток по районам, захваченным корпусом чехов и белогвардейскими частями.

Уфа. Мы в семье друга отца. Недолго… Нужно уезжать… И здесь наступают большевики…

Урал. Сутками у окон, так интересно! Туннели, ущелья… Наш паровоз бежит за своим хвостом… Потеха! Ночью скандал. Голос отца. Нас загоняют на какую-то ветку. Утром опять Урал, красивый Урал. Екатеринбург (Свердловск). Находим дом купца Ипатьева. Старик за деньги показывает узкий подвал с верхним светом в конце, выщербленную стену, клочок волос, прибитых к стене пулей. Здесь по решению Революционного трибунала уничтожали женщин царской семьи Романовых и наследника… Помню бледных, оцепеневших родителей.

От Екатеринбурга ехали на Тюмень, а от Тюмени – на Омск. За Уралом проехали столбик на границе Европы и Азии и выехали на Великую Сибирскую магистраль. Омск. Равнины, реки, мосты, леса, станции, эшелоны с такими же, как мы, беженцами, солдатами.

После долгого перегона на унылой станции вышли размяться у вагона. И вдруг навстречу с чайником – Торчинский! Самарский лев, поклонник мамы и партнер папы за карточным столом… Торчинский! Стоят элегантные, заталенные и хохочут, пожимают плечами. Ни к селу ни к городу… Торчинский приподнял котелок, поцеловал руку маме,

исчез… Весь в черном… Черт из-под печи…

Новониколаевск (Новосибирск). Квартирка с открытыми в палисадник окнами с огромным иконостасом и горящими лампадами и свечами. Пьяная ссора. Расхристанные прапорщики с пистолетами в руках. Из-за невесты на помолвке. Слезы, ругань, борьба… Спокойная невеста в гимназическом.

Как мы там? Зачем? Не знаю…

Красноярск. Кем-то решено нам здесь зимовать. Город переполнен беженцами, военными… Сухой и пыльный. Совершенно чужой город. А что же мама? Полная неясность положения, жизнь слухами, существование на колесах не вызвали проклятий, истерик, злобы… Похудевшая, почерневшая, сдержанная, как всегда элегантная и простая, пристально смотрела в наши глаза, чаще прижимала к себе и делала свое материнское дело: берегла наши жизни и души, не ссорила с жизнью. Среди хаоса, при самых непривычных обстоятельствах, с помощью бабушки отвоевывала пространство и делала его чистым и уютным. Мыла нас, лечила, кормила и, не теряя времени, учила.

В Красноярск семью привезла мама. (Отец задержался по делам в Новониколаевске.) Нашла жилье. Несмотря на значительное опоздание, определила в знаменитую в Сибири Красноярскую губернскую гимназию. Учителя – в мундирах и крахмальном белье. На первом месте – Закон Божий. Парами, взявшись за руки, ходили мы в гимназическую церковь

на молитву. Были с мамой на приеме у тощего, седого, стриженного бобриком директора.

Мама находила время, надев фартушек, подавать какао в каком-то благотворительном беженском кафе, водила в кинематограф.

Приехал отец, и мы зимовали, работая и учась, привыкая к замечательным морозам, неожиданным обычаям сибиряков, надеясь на возвращение в Самару.

Город жил в тревоге. Шла Гражданская война. Облавы, обыски, перестрелки. Буднично, на застеленной сеном крестьянской телеге, привезли во двор дома, где мы снимали комнаты, труп сына хозяйки, офицера, застреленного крестьянами в карательной экспедиции где-то под городом. К трупам привыкли. На большой перемене бежали на гимназический двор и сквозь щели в заборе, совпадавшие со щелями барака, примыкавшего к забору со стороны госпитального двора, рассматривали и обсуждали уложенные штабелями, кривляющиеся и жестикулирующие трупы в драном солдатском бельишке, а то и нагишом. Пахло карболкой. Жили среди "живых трупов".

Старик, адмирал в отставке, дядя Федя (похожий на Артёма[1] из МХТ) и его "утешительница" (юная, хорошенькая, кудрявенькая, со смелым декольте) устраивали нашей семье

---

[1] Артём Александр Родионович (наст. фамилия Артемьев; 1842–1914) – актер. Играл в МХТ с момента основания театра. Роли Фирса и Чебутыкина были написаны Чеховым специально для Артёма.

на Рождество и Пасху приемы. Для такого торжества дядя Федя надевал шитый золотом адмиральский мундир, все кресты, ордена, медали и знаки, золотой именной кортик и пел под гитару "Я встретил вас"… Уютно и трогательно.

Заперев дверь, зашторив окна, при свечах неделю пили водку симбирские миллионеры: Пузанков – стриженый, бритый, коротконосый, огромный и толстый и Баулин – седой, кудрявый и чем-то похожий на Бакунина. Пол заставлен пустыми бутылками, а один угол завален стандартными слитками золота с двуглавыми клеймами. Золото светит сквозь драные черные чулки. Показала этот гротеск Зинка, любовница Пузанкова, кассирша его симбирского синематографа.

И еще один труп.

На масленичной ярмарке с балаганом в распряженных розвальнях растянулся труп огромной прекрасной бурой медведицы. Два медвежонка теребят мертвые соски матери. Сначала сдержанно, похрюкивая, а затем все нервнее, злее, с рычанием и писком рвут их. Устанут, скуля, замрут – и опять все сначала. Толпа хохочет.

Весной белые армии, колчаковские и иностранные, предприняли поначалу довольно успешное наступление на Западном фронте, и тысячи беженцев, погрузившись в вагоны, двинулись домой, на Запад, в Европу!

Двинули и мы… Опять Транссибирская магистраль. Но как же она изменилась весной 1919 года! Перегоняя эшелоны возвращавшихся беженцев, шли на Запад составы с воин-

ской техникой, продовольствием, кавалерийскими лошадями, солдатней под флагами Америки, Польши, Японии, царской России…

Станции кишели военными. На какой-то станции я остановился, засмотревшись на нарядные конфедератки и кунтуши польских легионеров. Усатые паны заметили меня, и один, прошипев “Пся крев!”, больно хлестнул кожаной плеткой.

На другой какой-то станции меня заманили жестами к себе веселые солдаты, выглядывавшие из двери на буферной стороне длинного пульмановского вагона. Внутри картина непривычная. Пол вагона покрыт светлым ковром. На стенах много вешалок. Нар, скамеек, стола, кроватей я не заметил. Солдаты сидели на низких сиденьях или на полу у низких столиков. Занимались чисткой пуговиц на френчах. Работали в рубашках защитного цвета. Каждый солдат держал в руках френч и металлическую пластину с прорезью. Загонял в прорезь тесным рядом медные пуговицы френча, мазал их из тюбика белой пастой и чистил щеткой, а затем замшей до сияния.

Угостили краюхой белого, как бумага, хлеба, покрытого маслом и густым слоем клубничного варенья. Запивал из высокого стакана теплой водой с разведенной сгущенкой.

Ребята что-то говорили на своем языке, скалили зубы в улыбке и часто хохотали. Может быть, надо мной? Нищетой, голодом? Запомнил слова – “бойз” и “Амэрика”.

Дальше Омска, столицы Верховного правителя России адмирала Колчака, нас не пустили. Эшелон поставили на запасные пути, там мы и жили. Все пристанционные пути забиты.

Разгром Красной армией колчаковцев на Урале вызвал панику в Омске. Магистраль нужно было освобождать для орд, хлынувших теперь на Восток. Так как отец все еще возглавлял какую-то эвакуированную волжскую службу, нас погрузили на баржу, и буксирчик потащил ее по Иртышу мимо Тобольска вниз, а от Самарова (Ханты-Мансийск) по Оби мимо Нарыма вверх, в объезд, чтобы доставить все на ту же Великую Сибирскую магистраль.

Но с Оби пришлось завернуть на Томь и, проплыв до Томска, там зазимовать. Проделанный нами в июле – августе 1919 года путь водой по Иртышу, Оби и Томи от Тобольска до Томска – это часть пути, которым проходили осужденные на каторгу декабристы, народники, социал-демократы, уголовники. Они, как и мы, плыли на баржах. Здесь проплыли сотни тысяч арестантов, ссыльных и их семей. Наша баржа походила на пристань. Трюм застлан половыми досками, палуба застроена каютами, а на корме работала большая кухня.

Гибель мечты о возвращении в свой дом, абсурд бесцельного бегства смутил всех и особенно поколебал дух мамы. В одноместной каютке какого-нибудь водолива[2], с дверью на палубу и окном без переплета, уходящим в обшивку, на

[2] Водолив – рабочий на барже.

узенькой деревянной койке, уткнувшись в стену и поджав ноги, лежала наша мама с платком в руке… часами… сутками… Иногда на свободном конце койки в ногах у мамы, облокотясь о стенку, сидел поседевший сероглазый мужчина… Они тихо переговаривались, глядя один в окно, а другая в стенку. Отец пил и играл в карты в гареме машинисток, живших в одной из комнат.

В старинном губернском Тобольске мы выходили на берег. Поразил белый кремль на высоком берегу и вид из кремля на заречные дали. Посетили богатых купцов. Забор из камня, ненамного ниже кремлевского, с железными воротами, окружал белый каменный с фигурной кладкой двухэтажный большой дом. Комнаты большие, невысокие, с глубокими окнами, заставлены мебелью под ситцевыми светлыми чехлами и скатертями и многочисленными бочками и горшками с цветами. Поили чаем с горячими шаньгами. Какие-то старухи, тоже в ситце. Кажется, мы гостевали у староверов. Как-то я пролез в сад за стеной.

Иру и Шуру берегла бабушка, а я болтался по палубам, каютам и трюму, забитому людьми и перегороженному тряпками, слушал проклятья, сплетни и созерцал болезни, любовь, покрасневшие пенисы старших гимназистов, посетивших бардаки красавца Тобольска. Собирал на песчаных отмелях бивни мамонтов.

В Самарове все поселенцы баржи сошли на берег выменивать или покупать у этнографически необыкновенно коло-

ритных остяков (остяками называли народность ханты[3]) рыбу, ягоды, туеса, художественные поделки, костюмы. Все население баржи хоронило умершего немого по морскому обычаю: в саване и с грузом на ногах на неоглядных просторах Оби и Иртыша. Все пели "Вечную память", и с необыкновенным драматизмом звучал тенор отца на этом диком вечном просторе.

На какой-то остановке все трясли вековые гиганты в готической кедровой тайге, шишки калили в кострищах и грызли жирные вкусные орешки, перемазавшись в смоле и гари.

Мало кто из бывших на барже знал, что в этих диких местах жили, творили, коротали ссылки великие сыны России, и, конечно, никто не мог предположить, что на этих тюменских берегах через сорок лет произойдет величайший энергетический бум – найдут нефть и газ в тех самых местах, которые мы проплывали (Сургут, Нижневартовск, Нарым).

После баржи, в Томске, мама ожила и посветлела. Красота ажурного города, жизнь среди университетской ученой интеллигенции всех нас духовно обогатила, нравственно осмыслила. И хоть прожили в Томске месяцев пять, он остался в памяти каким-то духовным оазисом.

Мы с Шурой поставили спектакль или, лучше сказать, аттракцион. "Черная комната". Одну комнату завесили черными тканями. Дверь в другую комнату служила порталом, и в

[3] Неточность автора: остяки – обобщающий этноним проживающих в Сибири народов (хантов, кетов, югов, селькупов).

ней мы поставили на полу обратную рампу, слепившую зрителей. Я в белом изображал кудесника, а Шура, одетый во все черное и черную маску, сливаясь с черным фоном, подавал мне блестящие предметы. Они летали, исчезали и т. д. Ира играла на пианино.

Гимназические занятия проходили в университетских аудиториях, лабораториях и кабинетах. В палеонтологический кабинет я подарил бивни и другие части скелета мамонта. В биологическом узнал эволюционную теорию Дарвина, и это стало началом атеизма.

Однако агония белого движения продолжалась. Сорвали с древков знамена и распустили отряды бойскаутов. Высоко над Томью, на задах какого-то длинного казенного здания, выстроили наш гимназический отряд бойскаутов. Мы стояли в форме перед голубым развернутым знаменем. Пробили барабаны. Зачитали приказ о роспуске отряда. С треском оторвали полотнище от древка…

В первой половине декабря под напором соединений красных партизан и большевистских подпольщиков, погрузив остатки вещей в теплушку, в составе других эшелонов бежали в сторону станции Тайга. Зачем? Куда? Трещали могучие декабрьские морозы, и падали снега. Паровоз топили дровами с порубок в тайге и ими загружали тендер… стояли часами… забивали котлы снегом… расчищали заносы на путях… В теплушках ехало по нескольку семей, и все время кто-нибудь что-нибудь варил, сушили сырую одежду… пар,

чад… жара вокруг раскаленной буржуйки и лед в углах вагона под нарами… Иногда нас обстреливала конница партизан.

Наконец на станции Тайга вышли на вожделенную Транссибирскую магистраль и включились в бесконечную вереницу следующих на восток поездов. На загаженных обочинах полотна лежали взорванные, сгоревшие паровозы и вагоны, разбитая военная техника, бродили осиротевшие лошади, ища корм на ветвях или под снегом, и ветер носил несметное количество каких-то документов. На станциях растаскивали имущество из ничейных вагонов. Буржуйку топили томами юбилейного издания “300 лет дома Романовых”. Толстая мелованная бумага не горела, и мы сворачивали в жгуты цветные портреты царей и их именитых сподвижников.

За Ачинском, на подступах к Красноярску, эшелон попал в зону боев. Наш вагон прямой наводкой с ближней дистанции обстреляли из пулемета (мы видели его через оконце с верхних нар). Пули застряли в сундуках, плотно набитых имуществом. Движение прекратилось.

Какой трагический балаган! Полтора года бегали, чтобы прибежать к последним боям Красной армии, уничтожившей остатки разбитых колчаковских частей, к отречению Колчака от верховного главнокомандования, к его аресту и расстрелу.

Нас взяли в плен части регулярной 5-й армии Восточного фронта. Во время боя в вагон забежал, придерживая окро-

вавленный живот, военный без опознавательных знаков. Не назвался… Потерял сознание… Его устроили на нижние нары. Бредил, но не давал осмотреть себя. Придя в себя и узнав, что находится в расположении Красной армии, попросил сообщить о себе. Началась агония. Пришли политработники с врачом. Долго пробивались к сознанию… он узнал одного из пришедших… освободил грудь от одежды… открыл пачку окровавленных бумаг и сник… Смерть героя, благодарность комиссаров неожиданно поразили благородством…

Бег кончился. Продукты доедали, воду пили снеговую; одолевали вши… Следовало определяться. Отец решает идти пешком в Красноярск искать жилье для переезда семьи и берет меня с собой. Мы прощаемся, присев на дорогу, и мама крестит нас. Выходим. Эшелоны стоят в бескрайнем снежном поле. Идем вдоль бесконечных вагонов, погашенных паровозов или просто по шпалам. После долгого пути показался разъезд красноармейцев. Один из бойцов подъехал и приказал мне снять белую с длинными ушами шапку из ангорки. Отец вступился. Увидев происходящее, старший разъезда подскакал и отогнал мародера.

Дальше эшелоны стоят в два ряда. В уходящем пространстве между непрерывными глухими составами у раскрытого товарного вагона с бочками лежит труп с распоротым животом, набитым комьями янтарного топленого масла. По маслу, в рядом стоящей бочке, идут глубокие кровавые следы от

пальцев, черпавших его. На груди замученного – дощечка с надписью кровью: “За продразверстку”…

Мы вернулись. Картина изменилась. У населенных эшелонов шла торговля. Наехавшие из ближних сел в бараньих тулупах, медвежьих дохах, волчьих малахаях, лисьих папахах и платках мужики и бабы доставали из мешков, продавали и меняли замороженные пельмени, замороженное молоко и масло со щепочкой, горячую еду.

Отец нанял извозчиков до Красноярска. Мы погрузились с остатками вещей в розвальни. Когда выходили из вагона, туда с матом лезли пьяные чалдоны. По заснеженному тракту, закутанные в тулупы, в санях, а где бегом, в сумерки добрались в Красноярск. Круг замкнулся. Так мы встречали новый, 1920-й год!

В небольшой комнате Шура и я спали на двухэтажных нарах; три койки стояли по стенам и стол посередине. Согревались дымящей капризной буржуйкой, освещались коптилкой, ходили по дорожкам, проложенным по рассыпанной подмерзшей картошке.

Контрреволюция долго держала в своих руках Красноярск, и теперь ЧК наводила порядок. Отца арестовали. Увели при нас. Пережив удар, мама, оставляя нас на попечение бабушки, утепляясь как только можно, уходила спасать отца. Превозмогая страх, узнала, где отец, доставляла необходимые следствию сведения, передавала передачи, добивалась свидания, узнавала новости у жен арестованных. В ши-

нелишке, как из рогожи, заросший, какой-то косноязычный охранник принес записку. Отец писал, что скоро придет домой, и просил дать охраннику белье… В записке другой рукой было приписано: “и брук”. Мама отдала и брюки.

Однажды мы услышали в коридоре стук замерзших подошв. Вернулся отец. Счастье пришло в дом, гордость за маму…

Семья прошла важнейшую проверку, получила права гражданства. Скоро папа пошел на советскую службу. Семья привыкла к существованию в условиях военного коммунизма: получала карточки, стояла в очередях, выходила на субботники чистить помойки и сортиры, заготовлять дрова. Хорошо начав учебный год в томской гимназии, здесь мы его не закончили.

Весна пришла тяжелая. Грязь, вонь во дворах и на улицах, тиф, минувший нас благодаря яростной борьбе мамы и бабушки, голод…

А я с необыкновенным душевным подъемом вспоминаю Красноярск 1920 года.

Однажды соседский мальчик сказал, что городскому театру требуются статисты. Захотелось увидеть, узнать иной мир. Родители не возражали. Пошли с соседом в первый красноярский советский театр (ныне драмтеатр им. А.С. Пушкина). Впервые в жизни вошли через неведомую дверь в задней стене в рабочую часть театра и коридорчиками и лесенками подошли к комнате на втором этаже, где среди развешан-

ных костюмов – картузов, шляп и брошенных на пол сапог – расположились другие мальчики, взрослые мужчины и даже старики в бородах. Узнали, что нам предстоит участвовать в массовке пятого акта пьесы Октава Мирбо "Дурные пастыри". Первые акты, прячась в кулисах от всевидящих глаз помощника режиссера, подсматривали и слушали спектакль. В антрактах шарахались от рабочих сцены, быстро таскавших декорации, наблюдали за артистами. Захватила бурная сцена ссоры отца, хозяина фабрики, с сыном, защищавшим права рабочих и проклявшим отца. Эту сцену я видел через дырочку в холсте павильона совсем близко… совсем рядом.

В антракте перед пятым актом помреж собрал нас на сцене и в сутолоке перестановки велел мне лечь на брезент среди других статистов, изображавших убитых полицейскими участников стачки – рабочих и их детей. Нас подпудрили. По полу сквозило холодком, пахло пылью от брезента… Шумел за занавесом зрительный зал. Прозвучали звонки. Стихло на сцене. Успокоился зал. Первый раз в жизни прошелестел взлетающий занавес, и я услышал тишину зала, разрываемую глубоким хриплым кашлем…

Бездвижный, с закрытыми глазами, я решил, что все смотрят только на меня… испугался… Мучил вопрос: поверят ли, что я мертв? Выдержу ли бездвижное лежание? Из услышанного диалога я понял, что нас будут выносить на носилках и что к воротам во двор, где мы лежали, подходят матери, жены, сестры, ищущие своих близких. Стало слышно, что

женщины вышли на сцену и приближаются к нам… Зал оцепенел. “Что же будет?” – ждал я. Тишину прорезал вопль… зарыдали женщины совсем близко… Я решил посмотреть сквозь прищур, что происходит. И… о ужас! Против меня, у ног, вытаращив глаза на мое лицо, стояла красавица Чарская! Я делал все, чтобы стать площе, незаметней, но она двигалась ко мне, нагнулась, и я увидел сильную подводку вокруг глаз, густой крап на ресницах и большие, колышущиеся, почти выпадающие из огромного декольте груди. От стыда и ужаса я зажмурился…

Наступила пауза… но… слава богу! Артистка ушла от меня направо и с воплем рухнула на кого-то… ближе к рампе… Вскоре меня унесли за кулисы. Помреж, давая кепку, сказал: “Мальчик, надень и выходи с этими” – и указал на группу других бывших мертвецов. Я запротестовал: только что был на сцене, без грима узнают! И тут впервые услышал сакраментальную фразу: “Публика – дура!” Что было делать? Я вышел. Нет-нет… Ни смеха, ни реплик в мой адрес не было.

Так я впервые узнал счастье перевоплощения, счастье быть другим на сцене.

В спектакле “Василиса Мелентьева” я стоял рындой у трона Ивана Грозного, которого играл кумир зрителей Сабуров-Долинин. Я был очень мил в белом кафтане, шапочке и красных сапожках. Перед собой на весу держал секиру. Когда царь в бешенстве запустил жезл в опального боярина и стал как-то странно озираться, я решил, что он ищет, чем

бы еще в него запустить, и так зажал свою секиру, что потом реквизитор с трудом выдирал ее из моих рук, и они долго болели.

Статистом выходил в пьесе "Соколы и вороны" и других.

Многим я обязан милому гортеатру. Там впервые увидел иноязычный спектакль – любительская еврейская труппа играла бытовую комедию. Увлекли народные еврейские мелодии, позже услышанные в Государственном еврейском театре от гениального С.М. Михоэлса и всего замечательного коллектива.

Люська, дочь хозяйки дома, где мы жили, девочка старше меня, затащила на галерку гортеатра посмотреть бал городского гарнизона. Театр заполнили военные с девушками и дамами. Звучала музыка, танцевали. На концерте погас свет, и в луче угольного прожектора из пролета занавеса возник Пьеро и простуженным голосом запел: "Ваши пальцы пахнут ладаном", "Ах, солнечным, солнечным маем" и др. Аплодисменты, топот, вопли восторга, стрельба… Пел любитель – Валерий Валертинский, брат известного в городе чекиста. Играли оркестры. Гас свет. Вспыхивали зажигалки. Люська хватала меня резко и целовала взасос. Проверяли документы…

Помню 1 мая 1920 года и шеренгу артистов: красавицу Чарскую, Пармского в клетчатых узеньких брючках и черной круглой шляпе, Сабурова-Долинина. В гортеатре же я увидел спектакль, перевернувший мои представления о правде

нашего искусства.

Молодежная студия из Томска играла “Гибель «Надежды»” Германа Гейерманса. Жизнь рыбаков артисты передали с сердечным теплом, живой искренностью, непринужденной свободой, а разговаривали так просто, словно текст сочиняли здесь же, на сцене. Зрителей покорила, потрясла правда жизни. Это была неизвестная нам вера, иная, чем та, которой следовали мы. На встрече с коллективом мы увидели, что все артисты молоды, общительны, веселы и умны, а держат себя так же просто, как играли.

Через много лет я узнал, что они повторяли рисунок постановки 1-й студии МХТ, созданной Л. Сулержицким, сподвижником К.С. Станиславского, а руководителем томской студии был воспитанник А.Д. Попова. Запомнил фамилию – Зверев.

Среди статистов гортеатра привлек внимание расторопный и, видимо, всё здесь знающий красивый, черноглазый, причесанный на пробор мальчик. При знакомстве назвался Яном Колибри. Сказал, что у него есть “свой театр”, и пригласил участвовать в спектакле, который он ставит. Ян собрал девочек и мальчиков и поставил с нами сочиненную им пьесу-сказку с музыкой и танцами. Я играл фантастического принца.

На пасхальной неделе на сцене, построенной в старом, из толстенных бревен сибирском сарае во дворе дома, где жила семья Яши Фридлянда (Колибри – псевдоним), смастерив

причудливые костюмы и декорации, мы играли этот спектакль. После спектакля зрители и исполнители танцевали, играли… Отличался Ян со своей очаровательной партнершей, бравшей призы за исполнение бальных танцев не только на детских балах.

Позднее Яша уехал учиться в Ленинград. В 1930-х годах, продолжая образование в Москве в киноакадемии учеником С. Эйзенштейна, бывал в нашей семье, ухаживал за моей сестрой. Мама любила кормить не слишком сытого в те годы студента. Ныне Яша – известный кинорежиссер Ян Фрид – живет в Ленинграде, работает на "Ленфильме". Он автор любимых зрителями музыкальных картин "Двенадцатая ночь", "Собака на сене", "Летучая мышь". Профессор консерватории. Мы встречаемся, дружим шестьдесят пять лет!

Однако вернемся в 1920 год. Весной шел мимо нарядного особняка Общественного собрания и остановился, услышав несущуюся из больших открытых окон полуторного этажа незнакомую дружную песню о молодой гвардии. Ребята, сидевшие на подоконниках, позвали меня зайти в особняк. Я вошел и… прижился. Стал ходить на репетиции театральной студии. Ставили современную политическую агитку. Может быть, "Призрак бродит по Европе". Исполнителю роли буржуя нужен был цилиндр. В убогой костюмерной студии цилиндра не оказалось. Обратились в гортеатр. Не дали – слишком много заявок. Решили организовать "тройку" для реквизиции цилиндра у местных богатеев. Меня в нее вклю-

чили. Старший, бывший военный, велел нам затянуть ремни поверх верхней одежды, прицепил к своему ремню кобуру с бутафорским наганом, взял мандат и строевым шагом повел нас серединой улицы к дому известного заводчика. Улица смотрела, я был смущен. Поднялись на второй этаж. В прихожей суетились перепуганные женщины. Цилиндра у буржуев не оказалось. На верхней полке вешалки, среди шапок и шляп, я заметил котелок. Забрали его. Так я оправдал свое назначение в "тройку".

Круглые сутки, не умолкая, жил зал особняка, тот, из окон которого неслась остановившая меня лихая песня о молодой гвардии. Девушки заполняли его. Одни уходили, другие приходили, сидели на подоконниках, случайных стульях, на полу, толпились в дверях. Многие курили самокрутки с махоркой.

Собирали группы на трудфронт. Проводили митинги, возникали дискуссии, читали сводки, пели частушки под гармошку. Стоило кому-нибудь заиграть на пианино, как возникали танцы, мгновенно, как будто только этого и ждали. Бесконечная "Барыня", кадрили, тустепы и падеспань, вальс… Как тогда любили танцевать! Это было счастливое ощущение свободы, победы. Читая красноярские газеты тех лет, часто встречаешь заметки о танцах после собраний, митингов, о любви к танцам в селе и городе…

А когда буйно цвела и одуряюще пахла на всю Сибирь черемуха, ездил в культпросветвагоне обслуживать пристан-

ционные сёла. Культпросветвагон организовал дорпрофсож Красноярского узла. Жители сёл – одни по темноте, враги по злобе – называли вагон "куль с просветом". Программа наших выступлений состояла из двух отделений. Пьесу Л.Н. Толстого "От ней все качества" играли в первом отделении. Второе отделение – концерт: чтение стихов Д. Бедного, пение, гармонь, танец.

Отвечал за передвижение вагона, безопасность людей и питание комендант "из кавказцев" – маленький, тощий, черный, ходивший в туго запахнутой под ремень кавалерийской шинели, волочившейся по земле, косноязычно говоривший по-русски. Он преданно любил нас, самозабвенно смотрел от корки до корки все выступления. Однажды во время танцев заиграли "Танец Шамиля" – комендант сорвался с места по кругу в дикой лезгинке, шинель распахнулась, и мы увидели, что у бедняги выше обмоток болтаются обрывки сопревших, перелатанных солдатских штанов… Такой вот "вещизм"! Выступал перед зрителями, проводил с ними политбеседы классически красивый, аккуратно одетый, в кожаной фуражке комиссар, человек замкнутый, необщительный, все свободное время находившийся в купе, где ехали он и комендант. Творческое руководство осуществлял профессиональный актер, доходчиво, нервно игравший главную роль пьесы Толстого – Прохожего. Он и его жена, тоже профессиональная актриса, были душой нашего коллектива. Все любили за веселый юмор, хозяйственность, находчивость другую

семью – молодоженов, актеров-любителей, игравших Михаила и Марфу. В концерте он читал сатиры Д. Бедного, а она пела революционные песни. Самые младшие члены коллектива – суфлер Коля и я. Мы под мелодию "Норвежского танца" Грига танцевали в концерте негритянский танец, надев на головы черные чулки с прорезями для глаз и черные перчатки. Я еще играл в пьесе роль Парашки, дочери Михайлы и Марфы. Звезда – гармонист – соло в концерте, и неутомимый аккомпаниатор, и организатор танцев и игр. Еще двух членов коллектива я не помню.

В места предполагаемых выступлений посылали нарочного "рубить сцену", если нет подходящего места для спектакля. Вагон прицепляли к редким поездам или катили сами, вручную, от станции к станции, часто среди первозданной тайги, подходившей прямо к полотну, среди тех самых черемуховых рощ, о которых я упоминал. Оказалось, что трудно столкнуть вагон, еще труднее не дать ему раскатиться… особенно под горку.

Сильнейшее впечатление оставило одно выступление. В огромном селе с богатыми рублеными избами и дворами, с нарядной, расписанной деревянной церковью к нашему приезду мужики валили лиственницы, распиливали их продольной пилой, из янтарных досок построили коробку сцены на сваях, скамьи на врытых столбиках и ограду из слег с калиткой. Сооружение светилось и далеко пахло смолой. Вход за ограду оплачивался натурой: краюха хлеба, кринка молока,

плошка орехов, пирог с черемухой… Народа – тьма. Думаю, что пришло все село. Семьями. Пришли бывалые зрители (они и сцену строили), люди, прошедшие дорогами войны и революции. Но для большинства театр – тайна, они видят его впервые в жизни.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.